

ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ



Университетский профессор Сергей Георгиевич Лазутин отправился со студентами-первокурсниками на фольклорную практику — собирать песни, сказки, частушки и тому подобное. Когда они прибыли в село и разместились в школе, профессор распределил всех по парам и отправил в свободное плавание — беседовать со стариками и людьми среднего возраста.

Парочка юных студенток возвратилась в школу довольно рано — задолго до обеда. Они достали свои пухлые записи и горделиво сказали:

— Вот сколько записали, и все от одной женщины. Только в частушках встречаются какие-то слова, не совсем знакомые, что ли.

Сергей Георгиевич торопливо пробежал глазами частушки и застыл. Все они пестрели крепкими матерными выражениями. Откашлявшись, он обратился к студенткам:

— Отведите меня к этой женщине.

Пришли. Дверь открыла крепкая крестьянка лет сорока, по виду одинокая. Сергей Георгиевич поправил очки и обратился к ней:

— Вы напели эти частушки?

— Я.

— А вы не могли бы их повторить?

И не дожидаясь ответа, сказал девочкам:

— Вы можете быть свободны. Я тут один разберусь.

А потом выжидательно посмотрел на женщину. Та ответила ему:

— Повторить-то я могу. Но без горячего ни-ни.

Сергей Георгиевич без звука достал кошелек и дал ей десятку. Через двадцать минут она возвратилась с двумя бутылками водки, колбасой и банкой частичка и поясница:

— Хлеб, лук, огурцы у меня есть.

И Сергей Георгиевич исчез из поля зрения надолго. Он не пришел в назначенное время к обеду, не пришел к ужину, и, только когда зажгли свет, один из студентов задумчиво заметил:

— Что-то Сергей Георгиевич четвертый раз под окнами проходит.

Оказалось, порядком осоловелый профессор никак не мог найти дверь.

Ему помогли, он уселся за стол и радостно сказал, явно не опасаясь пересудов:

— Господи! Вот на какие жертвы ради науки приходится идти старому профессору. А записи у меня просто чудесные, но гм... с не совсем приличными словами. И что делать с этим, ума не приложу. Вон Владимир Иванович Даль такие слова давно уже зафиксировал, а в свой словарь их не включил. И только в третьем издании гм... они прозвучали, а потом их снова исключили. А я когда-то смогу их опубликовать?

Сергей Георгиевич задумчиво покачал головой и пошел спать.

ЭКЗАМЕН ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Как-то в студенческие годы, не то в конце первого, не то в начале второго курса, в университет приехал московский лектор, рассказавший нам об искусственном языке эсперанто. Человек он был квалифицированный, язык знал (насколько мы могли об этом судить) прилично, и я задал ему вопрос:

— Как же так? Вот вы говорите, что эсперанто можно овладеть в пять-шесть раз быстрее и легче, чем естественным языком. А между тем, кроме брошюр, ни одной книжки по эсперанто не найдешь — ни грамматики, ни сборника текстов. Чем же это объяснить?

Ответ поразил нас своей откровенностью, к которой мы после десятого класса были еще не готовы, хотя молчать в нужных местах уже научились:

— Партия считает нежелательным неконтролируемое общение.

Видимо, все тем же — опасением неконтролируемого общения — объяснялись и принципы методики изучения естественных иностранных языков, являвшихся обязательными в каждом вузе. Все мы, студенты, выполняли какие-то упражнения, переводили бесконечные тексты, а разговорной речью практически не занимались, хотя наша преподавательница немецкого языка была поволжской немкой и говорила по-немецки лучше, чем по-русски. В этих условиях усвоенное по прошествии времени благополучно забывалось, и никакое — контролируемое или неконтролируемое — общение с иностранцами становилось невозможным.

А вот преподавание мертвого латинского языка велось совершенно по-другому. Этот язык изучался в течение первых двух курсов. Занятия проводились четыре часа в неделю и завершались строжайшим экзаменом. Наши старики-преподаватели (видимо, бывшие гимназические учителя) в течение года жучили нас почем зря. За каждую ошибку — выговор, за каждое плохо усвоенное домашнее задание — длинная нотация. А уж тех, кто позволял себе изредка пропускать занятия или — упаси Бог — вообще не выучить заданного, латинист нашей группы Владимир Георгиевич Журавель, маленький взъерошенный старичок, почитал за личных врагов.

На этой почве у него установились особенно неприязненные отношения с двумя девицами, нашими сокурсницами. Они были какими-то странными. Подго-

товлены были плохо, и как им удалось попасть на филфак, где проходной балл был 25 из 25, уму непостижимо. Каждую сессию они цепляли «тройки», но каким-то образом получали стипендию, хотя та полагалась только отличникам и хорошистам. Держались девичьи особняком, и наши сокурсники повторяли шутку Женьки Семенова о тех, «кого не знает никто, как зовут».

Так вот, Владимир Георгиевич не упускал случая сказать, что он думает о своих двоечниках, а выражений он не выбирал. Самый яркий его аргумент в пользу усердной учебы был следующий:

— Уважаемые студентки! Если вы не будете учить латынь, вам останется одна дорога — на панель.

Уважаемые студентки молчали...

И, наконец, настал заключительный экзамен. Мы получили оригинальные тексты латинских авторов, в которых были подчеркнуты некоторые предложения. Тексты надо было перевести без словаря, а предложения разобраны грамматически. Такие задания достались всем экзаменующим, но не уважаемым студентам. Им Владимир Георгиевич вручил одно задание на двоих. Состояло оно из единственного предложения. Текста не было.

Я было собирался уже сдавать выполненную работу, но тут мне передали записку: «Толя, спасай! Предложение мы перевели: «Муха сидит на пенисе быка». Но что значит слово пенис? Мы знаем, что оно обозначает половой орган. Однако Журавель имеет в виду что-то другое». Записке я удивился, потому что за два года не обменялся с ее авторами даже парой слов. Но законы студенческого братства сильнее всего. Мне было известно, в чем здесь дело. Но я, сдав свою работу, для надежности справился в словаре Дворецкого и подошел к окну, где проходил экзамен, с импровизированным плакатом, на котором было написано одно слово: «Хвост». К несчастью, меня увидел Журавель. Он погрозил мне пальцем, забрал работы моих сокурсниц и выставил им в зачетки «тройки».

После экзамена уважаемые студентки пошли в партком. Но стояла уже середина 1955 года, идеи XX съезда буквально витали в воздухе. И какой-то член парткома, вероятно, проконсультировавшись с Владимиром Георгиевичем, который, кстати, уходил с первого сентября на пенсию, объяснил жалобщицам, что и без того им было ясно:

— Вы безобразно знаете латынь, и потому преподаватель дал вам только одно предложение (из классической латыни, между прочим!): текст вы все равно бы не перевели. А что касается слова пенис, его основное, первое словарное значение — «хвост». Вы этого не знали, спасибо — вам подсказали. Так на что же вы изволите жаловаться?

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ ВСТРЕЧА

— Смотри, генерал Болознев с женой прогуливается, — шепнул мой приятель, с которым я вышел на проспект Революции. Мы переглянулись, подготовились (приосанились, приняли бравый вид) и дружно гаркнули:

— Здравия желаем, товарищ генерал!

В ответ на наше приветствие генерал подтянулся и как-то ловко, необыкновенно красиво отдал нам честь. И поскольку он был импозантен — высок, широкоплеч, с аккуратными усиками и бородкой, а военный мундир очень шел ему, прохожие — все до единого — оглянулись.

Мы улыбнулись. Наш замысел удался: представление, которое любили все университетские парни, получилось хоть куда.

Генерал В.В. Болознев, начальник университетской военной кафедры, был еще не стар. В мои студенческие времена ему исполнилось пятьдесят пять лет. Но в

его жизни много чего случилось. За плечами Василия Васильевича были Петрозаводская учительская семинария, юнкерское училище цесаревича Алексея и Военная академия имени М.В. Фрунзе. В 30-е годы он получил назначение в Киевский военный округ, где за десять лет дослужился до начальника штаба армии. Но после крупных военных неудач наших частей в начале войны В.В. Болознев (как и его покровитель маршал К.Е. Ворошилов) был отстранен от командования военными частями и исполнял обязанности начальника Харьковского пехотного училища, а потом руководил Казанским суворовским училищем. А поскольку он относился к делу с душой, в 1943 году ему было присвоено звание генерал-майора. Но вот война закончилась. В.В. Болознев возвратился в военные части и был направлен в Одесский военный округ, которым командовал попавший в немилость у Сталина маршал Г.К. Жуков, на должность начальника штаба корпуса. Однако там его служба длилась недолго. Причину этого объясняют скромно: не сложились отношения с маршалом Победы.

А не сложились они так. Однажды Г.К. Жуков решил совершить инспекционную поездку в корпус, где служил В.В. Болознев. Было договорено, что к прибытию поезда на нужную станцию будет подана машина, которую должны прислать из корпуса. Но как на грех накануне пошел сильный дождь, который хлестал уже сутки. Начальствующие лица корпуса посоветовались и решили машину не посылать: какой же дурак поедет в такую погоду, когда хороший хозяин на улицу собаку не выгонит. Но они плохо знали маршала Г.К. Жукова. Тот пристегнул полы шинели к поясу и вместе с адъютантом под проливным дождем и по непролазной грязи пошел пешком к месту расположения корпуса, которое находилось в семи километрах от станции. В корпусе маршал застал праздничный отдых по случаю дождя. Что там было, представить нетрудно. Руководящий состав корпуса полетел, и среди прочих были генерал-майор Болознев и полковник Забелоцкий, его заместитель.

Через несколько лет из Средней Азии, где после событий в Одесском военном округе генерал Болознев был начальником военной кафедры в Таджикском университете, его перевели на ту же должность в Воронежский университет. И когда он пришел впервые на новую военную кафедру знакомиться с сослуживцами, его ожидала незапланированная (а может быть, кем-то запланированная?) встреча. У генерал-майора Болознева в заместителях оказался полковник Забелоцкий.

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОВАРЯ

В конце августа 1969 года я приехал с юга, имея в запасе 63 рубля, которых, по моим расчетам, должно было хватить до следующей зарплаты, если, конечно, не делать небудуманных покупок. Тем не менее, я зашел в букинистический магазин. И оцепенел. Передо мной стояли 86 томов Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, и всего-то стоили они 60 рублей. Необыкновенная дешевизна Словаря объяснялась просто. Оказалось, что умерший в октябре прошлого года профессор-педагог С.В. Иванов оставил своим наследникам большую библиотеку, и его сын, приехавший из Москвы, частично распродал, частично подарил ее. А Словарь, изрядно потрепанный и какой-то покоренный, приказал выбросить на помойку.

Домработница воспротивилась:

— А снесу-ка я его в букинистический. Авось, дадут мне за него полсотенную.

...Я без колебаний выложил на стойку 60 рублей и за несколько трамвайных поездок переправил Словарь домой, благо от бывшего букинистического магазина до моей квартиры было две остановки. Приведя томики в относительный порядок, я задумался над историей Словаря.

Домработница Ивановых, которая прожила у них более 25 лет, рассказала мне о том, что С.В. Иванов, будучи еще заведующим кафедрой педагогического института, приобрел Словарь в 1938 году. Собираясь в эвакуацию, он в начале войны вырыл большую яму, в которую сложил все свои книги, а сверху положил Словарь. После отъезда профессора дворник разрыл яму и, не обнаружив там ничего интересного для себя, оставил ее открытой. И на Словарь всю осень и зиму лил дождь и сыпал снег: оттого-то он и пришел в ужасное состояние. О том, у кого С.В. Иванов приобрел Словарь, домработница не знала.

Однако очень скоро, просматривая Словарь, я заметил неразборчивую подпись: Крашенинников М.Н. Этой фамилии я не слышал. Но тут случилось невероятное, и я смог прояснить новый виток приключений Словаря. В ту пору я был замредактора (на общественных началах) университетской газеты, называвшейся тогда, как мне кажется, «За научные кадры», и в отсутствие редактора опубликовал статью профессора-историка А.И. Немировского (к тому же блестящего прозаика, поэта, переводчика). В ней рассказывалось о первых годах становления нашего университета, переведенного из оккупированного немецкими войсками Юрьева. Уж не знаю почему, но в обкомовских кругах статья вызвала недовольство, и я, вскоре расстался (без сожаления!) с постом замредактора. Но в статье промелькнула знакомая фамилия: М.Н. Крашенинников. Расспросы А.И. Немировского и других знающих людей приоткрыли плотную завесу, из-за которой выглянул наконец реальный человек.

М.Н. Крашенинников был в Юрьеве видным профессором-историком, специалистом по античности, и когда университет эвакуировался в Воронеж, поехал туда с группой профессоров. Ему выделили одну двадцатиметровую комнату, где разместились он, восемь котов и небольшая библиотека, украшением которой был Энциклопедический словарь, привезенный из Юрьева. Профессор был прямодушным человеком, не скрывавшим антипатии к советской власти. Первое время это ему сходило с рук, потом он потерял работу, а в 1930 году был привлечен по так называемому «делу краеведов» и получил пять лет тюрьмы. Не дожив до конца этого срока, он в 1932 году умер в Семипалатинском лагере.

На мое счастье, во время празднования дня рождения моего учителя Валентины Ивановны Собинниковой я упомянул фамилию профессора. Лаборант Клавдия Мироновна Фетисова удивленно воскликнула:

— Так я же его знаю! Когда он был арестован, комната досталась моей маме с детьми.

Тут же выяснилось, что, когда комнату стали приводить в порядок, от стойкого запаха кошачьих испражнений обычным путем нельзя было избавиться. (Все-таки, согласитесь: восемь котов — это многовато.) Подняли полы, а немудреные профессорские пожитки и Словарь выкинули во двор. Во второй день они исчезли.

И вот сейчас, через много-много лет, я раздумываю: все дороги, по которым пропутешествовал Словарь, мне известны. Неясны только подробности жизни Словаря от ареста профессора до того дня, когда его купил С.В. Иванов. Небольшой срок (8 лет!), но кто знает: какие события, может, даже трагические, произошли за этот небольшой промежуток времени.

НЕ РАССТАВАЙСЯ С НАДЕЖДОЙ, ПОЛКОВНИК!

Игорь Павлович Распопов родился в 1925 году, и ему повезло. Призывников 25-го года рождения пожалели и рассовали по разным военным частям на учебу, а вот призывники 1926 года рождения, не имеющие жизненного опыта и необученные, попали в конце войны в кровавую мясорубку, и лишь немногие из них вернулись с фронта, да и то искалеченные. Игорь Павлович, направленный на какой-то

тыловой аэродром, пробыл там полтора года, так и не попав на фронт, куда стремился.

Сразу после войны Игорь Павлович поступил в Куйбышевский пединститут. Жизнь была тогда голодная и холодная. В студенческом общежитии, в котором он поселился, зимой по утрам замерзала вода. И после подъема, стуча зубами от холода, сосед Распопова по комнате сурово обращался к бюсту В.Г. Белинского, на цоколе которого были начертаны его слова: «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено жить в 1940 году...»

— Не завидуй, Виссарион!

В институте Распопов страшно боялся экзаменов и ни на один из них не ходил без шпаргалок, которые составлял обстоятельно, толково, со знанием дела. И снова это обернулось ему во благо. Шпаргалками этими он ни разу не воспользовался, зато научился прекрасно и сжато писать, как не писали многие его преподаватели.

Окончил пединститут Распопов круглым отличником, сталинским стипендиатом и тут же поступил в аспирантуру к профессору А.Н. Гвоздеву, учебник которого по русскому языку во многих отношениях не устарел до сих пор.

Защитив кандидатскую диссертацию, он после недолгих странствий (Благовещенск, Пятигорск) осел в Уфе и сразу же серьезно занялся наукой. Вскоре в столице и других городах заговорили о восходящей научной звезде и новом направлении, разрабатываемом И.П. Распоповым, — актуальном членении высказывания.

Вскоре Игорь Павлович защитил докторскую диссертацию и через год осуществил свою давнюю мечту — переехать в Воронеж, на родину своего отца. И вот в 1968 году для меня и для других лингвистов на факультете наступили после его приезда в Воронеж 14 счастливых и радостных лет жизни. Мы с ним, несмотря на разницу в возрасте (10 лет) как-то подошли друг к другу и стали неразлучными друзьями. Не было ни одного дня, чтобы мы хоть мельком не повидалась, за исключением отпусков и наших командировок. Он звал меня капитаном, а я его полковником. Правда, меня посещали иногда опасения, что мою дружбу с ним поймут превратно: ищешь, де, покровителя своей докторской диссертации. Но он, словно подслушав мои мысли, однажды сказал:

— Ты вот что, капитан. Выбери себе тему подальше от меня. Во-первых, этим ты закроешь рот тем, кто будет не прочь посудачить. А во-вторых, имей в виду: самостоятельность — неперемное условие для становления настоящего ученого.

И я погрузился в аспектологию (весьма далекую область от сферы научных интересов Распопова). Защитил по ней докторскую.

Через недолгое время Игорь Павлович снискал не только уважение коллег и студентов. Его еще и полюбили. Очень часто (гораздо чаще каких-либо других провинциалов) он публиковался в «Вопросах языкознания», регулярно писал книги, тут же становившиеся научными бестселлерами, блестяще читал лекции, которые студенты слушали открыв рты (вместе с постоянно сидевшими на его лекциях аспирантами и молодыми преподавателями). Знали его во всех концах лингвистической ойкумены, даже зарубежной.

Но его любили не только за талант, но еще и за остроумие, за то, что он находил для всякого собеседника что-то приятное, причем не льстил, а говорил о чем-то действительно бывшем. Я однажды пошутил:

— Ну, полковник, ты даже и дурных людей способен улаживать.

Он нахмурился и сказал:

— Мы все в России ходим трудными дорогами, и доброе слово никому не помешает.

Наверное, эта доброта у него брала начало в его жизненном опыте. Отец Игоря

Павловича, служивший в Красной Армии, был обладателем прекрасного голоса. Однажды приехавшие москвичи услышали его на концерте художественной самодеятельности и пригласили учиться в консерваторию. Он поехал, несколько лет пел в столице, успел жениться и родить сына Игоря. Но тут случилось несчастье — он потерял голос. И жена не нашла ничего лучшего, как покинуть его с сыном. Распоповы — старый и малый — уехали из столицы и поселились в заволжских краях. И хотя впоследствии женившийся отец привел в дом прекрасную мачеху Марию Михайловну, матери ему все-таки не доставало. А когда та без малого через полстолетия решила навестить сына, запомнившегося ей шестилетним мальчиком, ничего хорошего из этого не вышло...

Однажды он заскочил ко мне растерянный, сильно взволнованный, руки дрожат, и сказал несколько бессвязных фраз:

— Не знаю, что делать, капитан. Пришла телеграмма. Мать будет сегодня проездом — через Воронеж. Два часа свободных. Жена в отъезде. Пошли со мной. Не один буду.

...Раздался звонок, и вошла женщина сильно за семьдесят. Игорь Павлович пошел ставить чайник и возился на кухне необыкновенно долго. Я вел с гостьей ничего не значащий разговор, к которому присоединился, наконец, справившийся с чаем Распопов. Мать и сын не задали в разговоре друг другу ни одного вопроса. Когда истекли долгие два часа, мы проводили ее до такси, и Игорь Павлович сказал мне:

— Капитан, хочу побыть один.

Через три-четыре месяца пришло письмо от родственников матери. Они писали, что та была неизлечимо больна и сейчас умерла. Получается, что она приезжала проститься...

Наблюдая теплое, задушевное отношение его к коллегам, студентам, да и всем тем, с кем ему приходилось встречаться, я немало удивлялся при чтении его работ. В них он был бескомпромиссен и даже суров со своими научными оппонентами, находил аргументы, неотразимые в научном споре. Я спросил, почему это так. Игорь Павлович пояснил:

— Моя задача — вспахать землю и уничтожить сорняки. Здесь миндальничать нельзя. А вот сеять — дело вашего поколения. Там и можно быть добрым.

Работал Игорь Павлович регулярно, и никто даже не заметил, как сильно пошатнулось его здоровье. Он лежал дважды в больнице. Не помогло. И когда в конце лета 1981 года он приехал с отдыха в Калининграде, я поразился: передо мной стоял не веселый жизнерадостный человек, каким он был всегда, а какой-то серый, мрачный старик с клюкой в руках.

Первый раз в жизни он пожаловался мне:

— Теряю память. Да и песни забываю.

А к песням у него, отнюдь не лишнего поэтического дара (ему принадлежит прекрасный стихотворный перевод «Слова о полку Игореве»), была особая любовь. Я вспоминаю, как он своим негромким голосом пел — необыкновенно задушевно — «Облака плывут, облака» А. Галича, и вот...

А жизнь между тем текла своим чередом. Я продолжал работать на кафедре русского языка для иностранцев. И эта работа своей практической приземленностью мне страшно надоела. Поэтому я, немного поколебавшись, принял приглашение возглавить кафедру русского языка в Тартуском университете. Оставалось только съездить на место, узнать, что и как.

И вот за два дня до отъезда Игорь Павлович зашел ко мне. Жена накрыла на стол, а я достал бутылку «Столичной». Он нехотя выпил полрюмки, немного поковырялся в тарелке. Мы перешли из кухни в кабинет и сели за шахматы. Но партия «не пошла». Чувствовалось, что Распопов оттягивает начало какого-то серьезного разговора. Потом он решился:

— Капитан, я думаю, тебе не стоит ехать в Тарту. Погоди, не возражай. Я чувствую себя плохо и скоро уйду с заведования. Хочу, чтобы ты сменил меня.

Я стал отнекиваться, но он был настойчив и добился от меня обещания подумать. Игорь Павлович удовлетворенно покивал головой, и мы перевели разговор на другие темы. Но он почему-то неизменно оказывался грустным. Ни с того ни с сего Игорь Павлович вспомнил своего отца. После ухода на пенсию тот как-то играл с внуком (сыном сестры Игоря Павловича). Мальчик неожиданно прибежал к бабушке на кухню — пожаловаться на деда, который не хочет с ним больше играть. Прошли в гостиную: дед уже не дышал. Игорь Павлович, помолчав, сказал:

— Хорошо бы вот так, хотя смерти я не боюсь.

Разошлись мы поздно — в 11 часов вечера. Обеспокоенный его настроением, я неловко пошутил, перефразировав самую малость Окуджаву: «Не расставайся с надеждой, полковник». Он слабо улыбнулся.

Возвратившись домой, Игорь Павлович починил некстати сломавшуюся ручку чайника, отказался от ужина и прилег в кабинете на диван. Домашние его потом рассказывали: он часто вставал, пил воду, читал. А утром его нашли мертвым. На столе, стоявшем рядом с диваном, лежали очки и раскрытый томик К. Симонова.

МЫ — ПРОФЕССИОНАЛЫ

В начале университетского курса я предложил студентам две темы курсовых работ, которые должны были по прошествии времени перерасти в дипломные. Обе работы предполагали изучение языкового устройства анекдотов. У меня теплилась надежда, что темы возьмут парни, но ко мне явились две хрупкие девицы, этикие маргаритки с ухоженных газонов. Что ж, курс был почти сплошь женский, и выбирать не приходилось.

К моему удивлению, маргаритки рьяно взялись за дело, но вскоре на консультациях стали смущенно хихикать, когда им попадались анекдоты с ненормативной лексикой. Применительно к этим случаям мы выработали следующую тактику: они показывали пальцем нужное предложение, а я про себя читал его. После защиты курсовых (а они написали их блестяще) я предложил им сменить неудобные темы и перейти к другому руководителю. Они недоуменно посмотрели на меня:

— Это почему же? Нам нравится. А к матерным выражениям, которые встречаются в анекдотах, мы привыкнем.

И действительно, привыкли. На четвертом курсе мы обсуждали возникавшие у них проблемы, не обращая внимания на то, какая лексика нам попадается — нормативная или ненормативная. А в апреле, выступая на конференции студентов, мои курсовички с кафедр стали называть все вещи своими именами — так, как они были названы в анекдотах. Присутствующие онемели. Но на замечание профессора Марины Васильевны Федоровой, что им поосторожнее надо бы обращаться с отдельными словами, одна из докладчиц возразила:

— Что значит поосторожнее? Мы же профессионалы! И для нас не существует плохих слов, как не существует для врачей плохих органов.

После этого нашумевшего случая никто уже ничему не удивлялся, слушая их выступления на защите дипломных. Но было странно, что матерные слова звучат в их устах необычно — без ненормативных обертонов, что ли? Как, впрочем, они должны звучать в речи настоящих профессионалов-языковедов.